



Максим Гуреев

# Булат Окуджава

Просто знать,  
и с ЭТИМ ЖИТЬ

ЭПОХА ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ



Эпоха великих людей

Максим Гуреев

**Булат Окуджава. Просто  
знать и с этим жить**

«АСТ»

2019

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

**Гуреев М. А.**

Булат Окуджава. Просто знать и с этим жить / М. А. Гуреев —  
«АСТ», 2019 — (Эпоха великих людей)

ISBN 978-5-17-108623-7

Притом что имя этого человека хорошо известно не только на постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами, притом что его песни знают даже те, для кого 91-й год находится на в одном ряду с 1917-м, жизнь Булата Окуджавы, а речь идет именно о нем, под спудом умолчания. Конечно, эпизоды, хронология и общая событийная канва не являются государственной тайной, но миф, созданный самим Булатом Шалвовичем, и по сей день делает жизнь первого барда страны загадочной и малоизученной. В основу данного текста положена фантасмагория – безымянная рукопись, найденная на одной из старых писательских дач в Переделкине, якобы принадлежавшая перу Окуджавы. Попытка рассказать о художнике, используя им же изобретенную палитру, видится единственно возможной и наиболее привлекательной для современного читателя.

УДК 821.161.1.09

ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

ISBN 978-5-17-108623-7

© Гуреев М. А., 2019

© АСТ, 2019

# Содержание

Пролог	6
Глава 1	14
Глава 2	26
Глава 3	36
Конец ознакомительного фрагмента.	37

**Максим Гуреев**  
**Булат Окуджава. Просто**  
**ЗНАТЬ И С ЭТИМ ЖИТЬ**

© М. Гуреев, текст, 2019

© Оформление, ООО «Издательство АСТ», 2019

\* \* \*

## Пролог

Во время ремонта одной из писательских дач в поселке Мичуринец Внуковского поселения на чердаке в куче старых вещей была обнаружена рукопись, завернутая в газету «Правда» от декабря 1983 года. Заглавные страницы рукописи оказались утраченными, и посему имя автора, а также название сочинения остались неизвестными.

Сезонные рабочие Сархат Шарипов и Машхади Латифи, которые и обнаружили рукопись, отнесли ее в Дом творчества писателей, что находился на улице Серафимовича, где оставили ее на вахте.

Спустя несколько дней рукопись оказалась в редакции одного из «толстых» журналов.

Споры о том, кому мог принадлежать этот текст, потом еще довольно долго были главной темой еженедельных заседаний редколлегии, но к общему мнению здесь так и не пришли, сойдясь, впрочем, на том, что рукопись напечатана быть не может.

Ее сдали в архив в той надежде, что со временем тайна авторства безымянного сочинения будет раскрыта.

А начиналось оно так:

«Из дневника артиллерийского офицера десятого корпуса второй прусской дивизии Михаэля Розена: «Вчера, 26 октября 1812 года, мы получили приказ об отступлении. Бумагу из штаба доставил мой старинный приятель, бывший артиллерист, капитан Вильгельм Витке. Он сообщил, что русские перешли в контрнаступление в районе села Терентьево, окружили и разгромили соединение пеших гренадер маршала Даву, к которому была приписана наша батарея. Следовательно, на нас двигалась русская армия под командованием генерала Дохтурова, при том что половина орудий батареи была выведена из строя, а другая половина стояла без боеприпасов. Спешные сборы заняли не более полутора часов, и мы выдвинулись, оставив часть орудийного парка на левом берегу реки Протвы близ погоста со странным названием Кариж. Также Витке предупредил, что окрестные леса изобилуют русскими партизанскими отрядами и казаками атамана Платова, которые по своей дерзости и жестокости не уступают легендарным раубриттерам, что в свое время орудовали на Рейне и в Баварии.

После шести часов пути по единственной проходимой в это время года лесной дороге мы вышли на Боровский тракт, где и заночевали. Ночь, как ни странно, прошла спокойно, однако расставленные вокруг бивака часовые доложили, что под утро на тракте появились неизвестные всадники числом не более десяти сабель и, видимо, не решившись вступить с нами в бой, ретировались, растворившись в предзвездной дымке.

Сейчас я пишу эти заметки и не знаю, что нас ждет впереди».

То, что передовая группа партизанского отряда Игната Зотова ранним утром 27 октября 1812 года наткнулась на артиллерийский бивак десятого корпуса второй прусской дивизии, точнее, на его остатки, было чистой случайностью.

Зотовцы должны были ехать восточнее, вдоль Протвы, но заблудились в непроглядном густом утреннем тумане поздней осени и выбрались на Боровский тракт, скорее, по наитию, не смогли его отличить от десятков подобных уходящих в никуда и приходящих ниоткуда дорог, просто после многочасового движения по заболоченным низинам почувствовали твердую почву под ногами, и лошади понесли. Слава Богу, что вовремя остановились, потому что противостояние многократно превосходящим прусско-французским силам закончилось бы для Зотовцев трагедией.

Вновь вернулись в чащу, спешили и затаились.

В Калужских лесах Игнат Иннокентьевич Зотов появился вскоре после Московского пожара, где-то в середине сентября, и сразу влился в партизанский отряд Андрона Смагина, который наводил ужас на французов, начиная с отвода войск с Бородинского поля. Однако

в одной из стычек под Малоярославцем Смагин погиб от шальной пули, прилетевшей, как говорили бывшие в тот момент рядом с Андроном, со своей стороны.

Общим сходом отряда на место покойника был назначен Игнат Зотов как человек смелый, решительный, а также знающий толк в военном деле.

Во время Малоярославецкого сражения Игнат со своими людьми был придан Касимовскому казачьему полку атамана Платова, а уже после победоносного окончания битвы перед ним была поставлена задача преследовать отступающих французов и сдерживать их движение по границе правого берега реки Протвы.

В отряд Смагина Зотов пришел вместе с сестрой Авдотьей Иннокентьевной, ведь только им вдвоем из семьи и удалось спастись из Московского пожара.

Игнат хорошо запомнил ту сентябрьскую ночь, когда все в доме, располагавшемся в Новинском близ Арбата, проснулись от страшного грохота. Выглянув в окно, он увидел пылающие фуражные барки, которые были пришвартованы в нижнем течении Пресни. Ураганный ветер расшвыривал снопы искр и обрывки взлетевшего к небу пламени по всей округе. Почти сразу вспыхнули стоявшие у самой воды сараи и сваленные для просушки вверх дном лодки, деревянные заборы и покосные луга, огонь по которым пошел волнами. Все это напоминало бурю на море, когда влекомые ураганом брызги разлетаются в разные стороны как картечь, с треском вспарывая изломанную шквалом водную гладь. Трава вспыхивала и гасла, то освещая, то погружая в темноту подступы к монастырскому посаду.

Меж тем у пристани взорвалась еще одна барка. Столп оранжевого огня вылетел в небо пуще прежнего, на какое-то время завис в воздухе, оплавляя завихрения прибрежного песка, и рухнул на жилые дома, что тянулись от реки до Земляного вала.

Все произошло мгновенно – дом вспыхнул, загудел, зашатался. Выбежать из пламени успели только Игнат и Дуня: в чем были, в том и оказались на улице.

И только под утро на пепелище пришел живой дух реки, прелых водорослей, обуглившейся, но живой ракушки, стелющихся водоворотов, из которых на поверхность время от времени выносило сонных рыб и перловицы, ракушки, сложенные как ладони, плотно прижатые друг к другу, будто внутри, как в пещере, в них хранились Святые Дары или реликвии.

И это уже потом пришло осознание того, что нет ни даров, ни реликвий! Все сгорело! А далекие раскаты французской артиллерии возвестили о том, что отныне Москва теперь уже и не вполне Москва, но город, в который вошла Великая армия, во главе которой был низкорослый, неулыбчивый господин, уголки губ которого ни минуты не были в состоянии покоя, они постоянно змеились, дрожали, но всегда стремились только вниз. На первый взгляд могло показаться, что этот господин всегда на кого-то обижен, ведь есть же такие люди, которые таят негодование и разочарование, обиду и неудовольствие вопреки тому, что никто не дает им повода к хранению этих угрюмых состояний.

Однако если бы с Наполеоном все выглядело именно так, то это было бы слишком просто. Еще в детстве он ощущал в себе постоянное раздражение, но лишь на самого себя, чаяния и надежды сверстников абсолютно не интересовали его, стало быть, обижаться на этих ничтожных, копошащихся людей было ниже его достоинства. Для Наполеона существовал лишь один человек, достойный высоких эмоций и переживаний – это он сам. Когда же ярость, клокотавшая в его груди, становилась совершенно нестерпимой, он начинал кричать – неистово и самозабвенно, потому что был уверен, что всегда прав.

Спустя годы, что и понятно, внутренний и внешний человек стали единым существом, цельным и свободным от детских предрассудков, а лицо этого человека стало полностью неподвижным. Вот разве что уголки острых, словно вырезанных лезвием бритвы губ, что трепетали при малейшем движении мысли или настроения, оставались единственным знаком того, что Наполеон еще жив.

Так и произошло свидание Москвы с Бонапартом.

Игнат Зотов лежал на горячей от ночного пожара земле и думал, что он умер. Все, что будет потом, будет уже с другим человеком, у которого не было ни детства, ни семьи, ни воспоминаний, потому что все это осталось за ревушей, изрыгающей невыносимый жар стеной огня, которую нельзя было миновать, нельзя было перейти ни в ту, ни в обратную сторону.

Теперь оставалось только тупо, не мигая, едва дыша, смотреть перед собой, предполагая, что все это видишь в первый раз, что никогда ничего подобного не видел.

– А что «это»? Чего никогда раньше не видел? – едва шевеля губами, проговорил Игнат Иннокентьевич и сам ответил себе мысленно:

– Вот этой заросшей редкой кривой голутвой долины, холма, на вершине которого некогда стоял Новинский монастырь, излучины реки и неба, выкрашенного пеплом в цвета тлена, не видел. А еще невыносимо слушать этот однообразный, придавливающий к земле звук, что извлекает из своего берестяного рога низкорослый, широкоплечий, со сросшимися на переносице бровями пастух несуществующего стада. Он трубит в свой рог на одном, бесконечной длины дыхании, он надувает щеки, закрывает глаза, раскачивается в такт одному ему известному ритму, в котором можно услышать гул ветра, шум воды на перекатах и крики птиц.

Зотов повернулся на бок, зажал ладонями уши, и сразу наступила тишина, которая на самом деле тишиной не была, но монотонным гулом, что существовал где-то в глубине самой головы. И теперь, когда внешних звуков не существовало, ведь они были отсечены ладонями, он стал естественным, единственным знаком того, что ты жив, потому что полная тишина наступает после смерти. Он видел свою сестру, которая бежала к нему, размахивала руками, что-то кричала, но вместе ее голоса существовал только этот шум, внутри которого собственный голос казался страшным, низким, чужим, принадлежащим какому-то чужому человеку.

В районе Калужской заставы обоз с беженцами столкнулся со входящим в Москву первым полком пеших гренадер Имперской гвардии под командованием бригадного генерала Клод-Этьен Мишеля.

Медленно, буквально бок о бок двигаясь встречными курсами, русские и французы смотрели друг на друга в полном молчании.

Все происходило так, словно каждый из них зажал уши ладонями: только взгляды и неразборчивое бормотание на разных языках, шепоты и тяжелое дыхание смертельно уставших людей.

А еще столбы пыли, поднятой стоптанными сапогами, копытами лошадей, колесами подвод и артиллерийских кавалькад.

Широко открытыми от удивления глазами Дуня Зотова смотрела на эти измученные, небритые, безвольные лица. Куда и зачем они брели, почему были уверены, что здесь, в Москве, встретят они свою славу и победу?

Вопросы, ответы на которые, думается, не дал бы ни один из этих некогда бравых гренадер Великой армии.

Как, впрочем, и в русском обозе никто не знал, куда они едут и что с ними будет дальше.

«Сейчас я пишу эти заметки и не знаю, что нас ждет впереди», – Михаэль Розен убрал блокнот в ранец.

Да, так оно и есть...

Из головы колонны раздался сигнальный горн, и все сразу же пришло в движение: люди, лошади, лафеты с водруженными на них орудиями, подводы фуражного обоза, линейные с красными флажками. Боровский тракт медленно, как бы нехотя, зашевелился под ногами, а обступившие его деревья поплыли назад, знаменуя однообразный, виденный сотни, если не тысячи раз пейзаж.

В эту минуту Розену показалось, что в этой рутине, в этих криках солдат и офицеров, в скрипе колес и лошадином храпе сосредоточена серая бессмысленная обыденность, когда ничего не происходит и тебя одолевают печаль, уныние, что так будет всегда, изо дня в день, из

года в год. Только пыль, скрип, неразборчивые возгласы, только трата драгоценного времени на ненужное, на пустое, когда не с кем поговорить, когда мысли приходят, но, не найдя выхода, тут же умирают.

Блокнот, который сейчас лежал в ранце, притороченном к седлу, Михаэль впервые открыл с началом русской кампании, чтобы записывать в нем свои впечатления и мысли. Он был его единственным собеседником и другом, более того, он принадлежал еще его прадеду – Альфреду, известному в Потсдаме оружейнику, которого в Петербург пригласил лично император Петр I.

Согласно семейному преданию, в России Фёдор Казимирович, как его звали на русский манер, конструировал скорострельную многозарядную пушку, которой он даже придумал имя – Большая Ансельма. Для этой надобности Альфред Розен всегда носил с собой этот самый блокнот, в котором он вел расчеты своего будущего изобретения. Идеи в виде формул и схематических набросков посещали голову Фёдора Казимировича постоянно. Также его влекли необъяснимые с точки зрения науки явления, которые нельзя было выразить при помощи цифровых комбинаций, но они были явью, следовательно, по мысли оружейника, их можно было так или иначе использовать при производстве Большой Ансельмы.

– Что было потом? – усмехнулся Михаэль, – а потом ничего не было, прадед умер от воспаления легких, производство пушки было остановлено, часть семьи вернулась в Потсдам, а часть осталась в Петербурге.

Выдохнул, огляделся – никто ли не видел, как он разговаривает сам с собой? Нет, все были заняты своим делом, все разговаривали сами с собой, со своими мыслями, страхами, потому что в любую минуту ждали, что лес расступится, разомкнет свои вековые объятия, и обоз десятого корпуса второй прусской дивизии окажется на линии огня русской артиллерии или на острие шквальной атаки казаков атамана Платова.

Причем, не было известно, что страшней...

Так, прикрывая при Бородине правый фланг тринадцатой пехотной дивизии генерала Дельзона, батарея Розена была атакована сотней казаков Уварова, которая на полном ходу врезалась во французские реданы, почти перелетела их, мгновенно оказавшись за спиной у полностью опешивших канониров. В ходе такого головокружительного маневра большинство всадников попадали из седел, но, оказавшись на земле, не растерялись и, выхватив сабли и пистолеты, бросились на французов.

Визг, свист, треск, хлопки выстрелов, лошадиное ржание, иступленные вопли, мычание, лязг металла мгновенно превратились в адскую какофонию, в хаос звуков, словно исходящий из преисподней. Чудовищную же картину побоища довершали разлетающиеся в разные стороны отрубленные конечности, хрипение умирающих и яркие вспышки пороховых зарядов, разбросанных по всей батарее, так и не успевшей сделать ни одного выстрела по внезапно налетевшим казакам.

Как тогда Розену удалось выжить, так и осталось для него загадкой.

И вот теперь, когда они отступали по Боровской дороге в сторону Козельска, ожидание атаки, от которой зависела жизнь этих превратившихся в слух и напряжение людей, сузилось до осеннего пыльного тракта, зажатого между грозными и величественными стволами векового леса.

Впоследствии в своем дневнике, первая часть которого была заполнена арифметическими формулами и схематическими набросками Большой Ансельмы, сделанными еще Фёдором Казимировичем, Михаэль запишет:

«Мы вошли в лес, который, как мне показалось, был населен живыми существами. Они следили за нами отовсюду, но это были не люди. Движения их были столь неуловимы и быстры, а взгляды – столь остры и пронизательны, что я ощущал себя полностью беззащитным перед ними.

После нескольких часов движения стало ясно, что лес не только не поменялся, но обрел еще более сумрачные и непроходимые очертания. Казалось, что он вел нас по какой-то только ему ведомой дороге.

Все чаще солдаты и офицеры просили у меня разрешения присесть на обочину тракта, потому что чувствовали нестерпимую дурноту и головокружение. Я, разумеется, разрешал, но скорость нашего движения вперед от этого не увеличивалась. Ночь здесь наступила внезапно, и в кромешной темноте нам пришлось ставить лагерь и разводить костры. Несколько канониров, отправленных за дровами, не вернулись. Стало ясно, что идти на их поиски сейчас никто не согласится, потому что приказы в такой обстановке не действуют. И тогда за ними пошел я, сказав, что скоро вернусь и ужин к тому времени должен быть готов».

Постепенно глаза привыкли к темноте, и взору Розена предстала целая чаша, деревья в которой были расставлены таким образом, что могло показаться, что они находятся в постоянном движении, не стоят на одном месте, но прячутся друг за друга, водят причудливый хоровод, задевая друг друга кронами, расковыривая в поисках живности вздыбленными корнями землю. При этом они напоминали совершенно хищных птиц, что в случае удачной охоты сжимали в кривых с наверхиями в виде острых загнутых когтей лапах полевую мышь или змею.

Сам не понимая зачем, он ускорил шаг, но тут же налетел на поваленный ствол, упал, вновь поднялся, теперь уже побежал и вновь упал, разбив лицо в кровь. Потом еще какое-то время, которое показалось вечностью, Розен, уже не разбирая пути, брел через дубраву в полной тишине, но, оказавшись в заболоченной ложбине, утыканной тонкими, мерно раскачивающимися в такт дыханию топи деревцами, что более напоминали вежи, вдруг услышал у себя за спиной человеческие голоса, крики, выстрелы, лошадиное ржание, надрывный собачий лай.

Разбил лоб и колени.

Пот на спине заледенел, и острый пронизывающий холод постепенно, тяжелым, неподъемным грузом лег на плечи, придавил к земле, полностью отняв волю. Михаэль тут же и вспомнил, как в детстве старший брат часто говорил ему – «У тебя нет воли, ты безвольный!»

От этих слов, сказанных громко и хлестко, становилось невыносимо тоскливо, будто брат безо всякого сомнения оглашал приговор, а так как делал это довольно часто, то никогда не задумывался о том, что его слова могут доставлять боль. Это просто не приходило ему в голову. Видимо, он вообще не придавал словам такого большого значения, наделяя их лишь информативной функцией. Не более того! Он ставил в известность при помощи слов. А так как был человек он уверенный в себе и не терпящий никаких возражений, то не понимал, почему на него обижались за сказанное им.

Скорее всего, таким незамысловатым образом брат хотел изменить людей в лучшую сторону, наставить на путь истинный. Порой он даже начинал говорить притчами, вероятно, видя себя мудрецом, познавшим жизнь.

Другое дело, что все эти нравоучительные эскапады были почерпнуты им из дешевых брошюр, которые бесплатно раздавали в лютеранском приходе святой Екатерины, который Эрих Розен посещал по воскресным дням.

– Вот посмотри на это дерево, – говорил старший брат младшему, – видишь, как оно огромно, как уродливы его корни и страшна его кора, а ветви, как корявые руки старух, тянутся к небу, но не могут до него дотянуться. Оно уже не может давать жизнь. И тогда ветер набрасывается на старое дерево, а так как оно уже не в силах изгибаться под его стремительными порывами, то начинает утробно, словно с трудом переваривает тяжелую пищу, трещать. Ветер крепчает, и треск усиливается. А теперь посмотри на этот слабый росток...

При этих словах Эрих поднимал вверх левую руку, словно указывал на этот самый воображаемый росток, перебирал в воздухе пальцами, начинал опускать руку вниз и при этом продолжал вещать:

– Он тонок и слаб, но он красив и мягок, ветер гнет его к самой земле, но не в силах сломить!

Михаэль сел на землю.

Постепенно понимание того, что с ним сейчас произошло и что произошло там, на Боровском тракте с остатками десятого корпуса второй прусской дивизии, начало приходить к нему. Осознание этого властно и неизбежно перекрывало все иные ощущения и состояния – холод, смертельную усталость, тупую ноющую боль, страх.

Значит, отправившись на поиски канониров лишь во исполнение нравственного долга, проявив при этом безволие и покорность обстоятельствам, не проявив офицерской настойчивости и совершенно не подумав о том, что его может ждать одного в ночном лесу в глубоком русском тылу, Розен невольно ощутил, что совесть его чиста, спокойна, и это спокойствие наполняет все его существо. Ему даже захотелось улыбнуться, потому что для своего спасения он не сделал ничего безнравственного, противного, просто так вышло. Это не было хитроумным расчетом, но таким образом сложившимися обстоятельствами, в замысловатом ходе которых было невозможно себя упрекнуть. Конечно, и Михаэль понимал, что во всяком стечении событий есть свой смысл, свой план, понять который порой не представляется возможным. Да, спустя годы понимание произошедшего все-таки наступает, но само ожидание этого наступления понимания есть часть большой душевной работы, когда ты беседуешь сам с собой, сомневаешься, ищешь ответы на вопросы и не находишь их, порой оказываешься на грани отчаяния, считаешь часы, дни, наконец полностью забываешь о времени и уже ни на что не надеешься.

Розен зажал ладонями уши, и сразу наступила тишина.

Игнат Зотов повернулся на бок, зажал ладонями уши, и сразу наступила тишина, которая на самом деле тишиной не была, но монотонным гулом, что присутствовал внутри его головы. И теперь, когда внешних звуков не существовало, ведь они были отсечены ладонями, он стал естеством, единственным знаком того, что ты жив, потому что полная тишина наступает после смерти.

После пережитого пожара, после гибели в нем матери, младшего брата, после исчезновения дома, в котором прошло детство, в Игнате что-то надломилось. Он сам это почувствовал, переживал от того, что душа его словно очерствела и он уже никогда не сможет быть таким, каким он был до той сентябрьской ночи 1812 года.

И вот сейчас, когда он смотрел на проходящие мимо обозы пеших гренадер Имперской гвардии, на раскачивающиеся в поднятой тысячами ног и копыт пыли значки и штандарты полков и батальонов, он ощущал в себе лишь абсолютную ледяную пустоту ярости, которая давно переплавилась и окаменела, как это бывает у давно отчаявшейся вырваться на свободу цепной собаки – огромного лохматого чудовища на тонких жилистых лапах.

Зотов хорошо запомнил, как однажды в детстве, зимой, возвращаясь с сестрой после всеобщей через Пресненскую пустошь, они наткнулись на, по всей видимости, бешеную собаку.

Тогда от неожиданности Дуня резко встала и замерла на одном месте, а от этой внезапной остановки Игнат наткнулся на нее, поскользнулся и упал.

– Не вставай! – на едином выдохе свистящим полусшепотом выкрикнула сестра и, закрыв собой брата, подняла с земли огромную суковатую палку.

Собака зарычала, оскалила зубы, подернутые желтой пеной, и придурковато вывернула голову вправо-вниз, словно ее морду сковала судорога.

– Уходи! – Дуня сделала шаг вперед и замахнулась на собаку, – пошла прочь!

Больное животное медленно перевело взгляд на девочку, прижало уши к голове, закатило глаза и завыло. От страха Игнат уткнулся лицом в мокрые, пахнущие овчиной рукавицы и заплакал, затрясся от сотрясающих его рыданий, боясь зарыдать вслух.

Однако неожиданно, как и начался, вой прекратился.

Собака сделала несколько вихляющих шагов назад и легла на снег.

– А теперь вставай и пошли! – неожиданно громко произнесла Авдотья Иннокентьевна, обращаясь к брату, – не бойся! Она не тронет! – и бросила палку на землю.

Суковатая дубина упала на снег.

Игнат Иннокентьевич пошевелил губами, словно при помощи беззвучных фраз попытался объяснить себе, что тишина заключается не в отсутствии звуков, но в отсутствии слов, а потом резко убрал ладони от ушей, и низкий женский голос тут же ворвался ему в голову:

Разорил Москву неприятель злой,  
Неприятель злой, француз молодой,  
Повыкатывал француз пушки медные,  
Направлял француз ружья светлые,  
Он стрелял-палил в Москву-матушку,  
Оттого Москва загорелась,  
Мать сыра земля потрясалась,  
А все Божьи церкви развалились,  
Златы маковки покатались...

А ведь сначала и не узнал голос сестры, он показался Зотову каким-то чужим, принадлежащим неизвестной женщине. И вот сейчас он отстраненно смотрел на нее, как она пела, как раскачивалась в такт мелодии:

Как на горочке было, на горе,  
На высокой было, на крутой,  
Тут стояла нова слобода,  
По прозваньицу матушка Москва,  
Ожидала своей лютой гибели...

Ожидание как душевный труд, как грань отчаяния, как поиск ответов на вопросы, как отсутствие времени, как постижение той непреложной истины, что ожидание когда-нибудь заканчивается.

И Михаэль убрал ладони от ушей.

– Ты кто таков будешь?

Розен обернулся – перед ним стояла высокая молодая женщина в полушубке. В руках она держала кавалерийский штуцер со взведенным замком.

– Авдотья Иннокентьевна, да француз это, черт нерусский! Кончать его надо! – пришепётывая, скороговоркой выпалил бородатый беззубый мужик-лесовик в рваном тулупе с подвернутыми до локтей рукавами и масляной лампой, притороченной к поясу.

– Ну-ка посвети на него...

– Можно, Авдотья Иннокентьевна, и посветить на супостата, – ловким движением лесовик отстегнул лампу и, подняв ее над головой, двинулся к Розену.

Михаэль отчетливо увидел его худую жилистую руку, по которой, как по мутным, заросшим улитками стенкам аквариума, что стоял в доме его отца в Потсдаме, начали движение блеклые тени-змеи.

Подойдя к Розену почти вплотную, бородатый мужик наклонился к самому лицу Михаэля, осветив оба лица одновременно – свое и артиллерийского офицера десятого корпуса второй прусской дивизии.

– А вы похожи, – рассмеялся выросший из темноты рослый кудрявый парень.

– Тьфу на тебя, Митька! – мужик-лесовик бешено завращал глазами, чем еще больше рассмешил окруживших Розена партизан.

Эти освещаемые слабыми желтоватыми сполохами масляной лампы улыбающиеся лица, возникшие из ниоткуда, вдруг напомнили Михаэлю лесных жителей из сказки о Гензель и Гретьель, которую ему в детстве рассказывала мать, и, сам не зная почему, он тоже улыбнулся.

– Смотри-ка, а наш-то француз веселый! – заголосил лесовик, хотя теперь он больше походил на скомороха, что размахивал своей лампой, кривлялся и совсем не был похож на человека, который еще несколько минут назад призывал убить пленного.

– Скор ты на расправу, Парамоша, – пробасил кудрявый парень.

– Да, – продолжал блажить лесовик-скоморох, – мы, калужские, такие, потому и праведники!»

## Глава 1

Из Калуги выехали в двенадцатом часу, хотя планировали начать движение в начале одиннадцатого. Тут пока прособирались, пока ловили попутку, ей оказался армейский грузовик, шедший порожняком в Сухиничи, пока выбирались за Оку, на мосту проводился ремонт и было организовано однопутное движение, которым управлял грозного вида ушастый регулировщик в фуражке, надвинутой на самые глаза.

Слепил целлулоидным козырьком на солнце – злодей, зыркал по сторонам свирепо, приговаривал: «поехали-поехали, не задерживаемся», правил этот самый лучезарный козырек указательным пальцем без ногтя.

Так и время пролетело незаметно.

Наконец выбрались из затора, поднялись до деревни Сикеотова, названной так по церкви Федора Сикеота, что и понятно, а Калуга при этом осталась за спиной, под высоким правым берегом, и легли на курс, на Каменку, от которой до Шамордино рукой подать.

Была середина августа 1950 года.

Тепло.

Солнечно.

Сухо.

Жену Галину и младшего брата Витю посадил в кабину к водителю, сам же устроился на деревянной скамейке в кузове грузовика с откинутым брезентовым верхом.

На скорости этот брезент гремел на горячем встречном ветру, который был замешан на вонючем бензиновом прогаре, столбом стоящей по обочинам дороги песчаной пыли и запахе далеких костров: видимо, где-то на лесосеках жгли сучья.

Как тут было не вспомнить август 1942 года, когда их, призывников точно на таком же бортовом грузовике перебрасывали с Тбилисского карантина в Кахетию, где дислоцировался 10-й отдельный запасной минометный дивизион.

Тогда все сидели молча, испуганно смотрели по сторонам, вероятно, думали о том, что сейчас творится в Сталинграде, со страхом мечтали оказаться на месте защитников города. Не знали, вернее, не могли знать, что силами 4-го воздушного флота люфтваффе город тогда уже был разрушен до основания, превращен в гигантский пылающий кратер, в котором погибло более 90 тысяч человек, а на северную окраину Сталинграда, в районе поселков Акатовка и Рынок, вышла ударная группировка 6-й немецкой армии.

По прибытии в расположение дивизиона всех построили на плацу, провели перекличку и повели строем в казармы, под которые были переоборудованы местный клуб и несколько складских барakov.

Новобранцев старослужащие встретили без особого энтузиазма, неприветливо встретили, мол, какой от этих мальчишек толк – ни дисциплины, ни умения, только суета и беспорядок.

До принятия присяги так и ходили кто в чем, разве что выданные командованием шапки альпийских стрелков, неизвестно откуда взявшиеся в этих краях, хоть как-то напоминали о том, что это 10-й отдельный запасной минометный дивизион, а не пионерлагерь.

И это уже потом были поход в баню, опять же строем, выдача новой формы, присяга в Тбилисском Доме офицеров, отправка в учебку, а затем и на Северо-Кавказский фронт под Моздок в составе минометной бригады 254-го гвардейского кавалерийского полка.

Тогда переброска осуществлялась на американских «Студебеккерах», сейчас ехали на 150-м ЗиСе.

До Перемышля долетели за полчаса.

Остановились у рынка в центре города.

Водитель-срочник побежал за куревом.

Галя и Витя выбрались из кабины, чтобы размять ноги.

Огляделись.

На Рождественском храме, переоборудованном под дом пионеров, висел выгоревший на солнце плакат, на котором был изображен товарищ Сталин в окружении улыбающихся школьников. На плакате было начертано – «Пусть здравствует и процветает наша Родина!»

– Булат, а сколько нам еще осталось ехать? – обратилась Галя к так и оставшемуся сидеть в кузове мужчине, что неопределенно повел плечами в ответ:

– Не знаю, километров сорок, может быть...

Нет, он совершенно не понимал, как мог оказаться здесь, в этой местности, затерянной между Калугой и Сухиничами, более чем в двухстах километрах от Москвы, никак не мог свыкнуться с мыслью о том, что именно здесь ему теперь предстоит жить и работать.

Конечно, все предшествовавшие события жизни Булата должны были приучить его к тому, что подобные повороты возможны и даже неизбежны. И умом он, конечно, понимал эту данность, но вот привыкнуть, найти сердечный отклик внутри себя, принять ее почему-то не получалось.

– Поехали, – весело крикнул водитель, неожиданно вынырнувший из рыночной толчеи. Лицо его выражало бесконечное удовольствие, видимо, затея с куревом увенчалась полным успехом. Ловко прыгнул в кабину и запустил двигатель.

В 1950 году Булат Шалвович Окуджава окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета имени И.В. Сталина и перебрался в Москву, где ему по распределению как сыну «врага народа», было предложено проследовать сначала во Владимир (тут даже и слушать не захотели о его трудоустройстве), а затем в Калугу.

Разумеется, безропотно проследовал, но и здесь его не оставили, а перенаправили в среднюю школу деревни Шамордино Перемышльского района.

Все эти мытарства (предумышленные, разумеется) напоминали ему ссылку, негласное наказание. Естественно, имея репрессированного в 1937 году отца и мать, отбывающую срок по статье 58-10 УК РСФСР на поселении Большой Улой в Красноярском крае (причем уже второй срок), на что можно было рассчитывать другое?

Ни на что...

Подняв тучу сухой песочной взвеси, грузовик развернулся на площади перед домом пионеров и свернул в первую улицу, тесно заставленную деревянными одноэтажными домами.

Булат оглянулся.

Ему показалось, что Иосиф Виссарионович на минуту отвлекся от своих юных друзей и провожает его своим ласковым, с прищуром, взглядом, как бы напутствует, ведь молодому учителю и фронтовику пойдет только на пользу эта поездка по «здравствующей и процветающей нашей Родине».

Кузов загрохотал на выбоинах, тут же в такт захлопал брезентовый верх, и видение пропало в дорожной пыли.

Всю дорогу до Каменки, вернее, до поворота на Шамордино, убеждал себя в том, что никакая это не ссылка, что, как ему сказали в областном отделе народного образования, это прекрасная возможность собрать уникальные материалы о Льве Николаевиче Толстом, бывавшем в этих краях, а также о его сестре Марии Николаевне, которая была монахиней Казанского Шамординского монастыря.

Сначала эта мысль казалась заманчивой – уход великого старца, его духовное общение с сестрой, богоборчество и одновременно богоискательство Льва Николаевича. Однако по мере приближения к Шамордино все это более и более обретало черты чего-то кромешно далекого, возбуждающего любопытство, но не более того, не могущего стать смыслом новой жизни. Именно новой, когда закончилась война, наступил мир и все должно быть совсем по-другому.

Булат смотрел на проносившиеся мимо заборы и кособокие деревянные постройки, колхозные сады и стоящих вдоль дороги стариков с окладистыми седыми бородами, усмехался – нет, не получается себя переубедить, хотя некоторые из этих стариков очень даже походили на графа Толстого.

Булат хорошо запомнил тот февральский день 1937 года, когда его отца – Шалву Степановича Окуджаву, первого секретаря Нижнетагильского горкома партии, арестовали по делу о троцкистском заговоре на Уралвагонстрое.

Потом брел после уроков по пустому школьному коридору, а со стен на него с укоризной смотрели Пушкин и Маяковский, Николай Васильевич и Лев Николаевич.

Вдруг до его слуха донеслось: «Вон, сын троцкиста идет».

Оглянулся, попытался догнать обидчика.

Безуспешно.

Слезы выступили на глазах.

И тогда неожиданно пришло в голову, а может быть его отец действительно виноват перед этим самым Уралвагонстроем, перед товарищами по партии, да и вообще перед всеми коммунистами Нижнего Тагила и СССР, может быть, его арестовали за дело, потому что всем было известно, что враг не дремлет и даже самые опытные и проверенные большевики могут ошибаться, встав на путь измены.

С этими мыслями, от которых мутился рассудок, сам не помня, как, он пришел домой, но когда мать открыла ему дверь, то отчетливо понял, что не может убедить себя в том, что его отец виновен, что он может быть предателем.

Это было как вспышка, как озарение, после которых стало легче дышать.

Когда подъехали к Каменке, то небо затянуло грозowymi облаками, и поднявшийся ветер задышал приближающейся осенью, принеся первые капли дождя.

Остаток пути до Шамордино, а это не более двух километров, пришлось проделать пешком. Разбитая дорога тут поднялась в гору, сделала крюк и вывела к излучине реки Серёны, которая извивалась на дне огромного, более напоминавшего каньон, оврага. На горизонте вознеслись сумрачные, красного кирпича сооружения бывшего Казанского монастыря.

Дождь усилился.

«Этот холм, мягкий и заросший, это высокое небо, этот полуразрушенный собор, несколько домишек вокруг... А там, за оврагом, – Васильевка, деревенька, похожая на растянувшуюся детскую гармошку.

...Как хорошо! Как тихо! И солнце... Внизу, под холмом, счастливой подковкою изогнулась река. На горизонте лес. Почему я отказывался ехать сюда? Не помню. Уже не помню...» – напишет впоследствии Булат Шалвович о Шамординских далях.

Конечно, в годы юности мечтал поселиться где-нибудь в русской глубинке, чтобы жить в старинном деревянном доме с верандой с видом на реку и заливные луга, заниматься тут творчеством в уединении, совершенно уподобившись при этом Александру Пушкину в Михайловском или Николаю Некрасову в Карабихе. Мечтания, которым, впрочем, предается любой горожанин, знакомый с «деревенской» жизнью лишь по книгам или по визитам к друзьям на Николину Гору, в Комарово или в Переделкино.

На самом же деле все обстояло совсем по-другому.

Семью Булата поселили в двух крошечных комнатках в учительском общежитии, которое размещалось в бывшем келарском корпусе монастыря.

Печное отопление.

Дров не хватает.

Удобства на улице.

Колонка зимой замерзает.

За водой надо ходить на реку – метров пятьдесят по отвесному склону вниз, а потом с полными ведрами наверх.

Баня по воскресеньям.

Электричества нет.

Освещение керосиновыми лампами.

За продуктами по субботам надо ездить на рынок в Козельск, а это 20 километров.

Подсобное хозяйство (огород или скотина), без которого тут не выжить.

Обязательные сельхозработы вместе с учениками и коллегами-учителями.

И наконец, сама Шамординская средняя школа, которая располагалась в бывшем двухэтажном больничном корпусе монастыря, – шестьсот учеников, занятия в две смены.

Булат Шалвович вспоминал: «Меднолицые мои ученики плавно приближаются ко мне из полумрака классной комнаты. Ко мне, ко мне... Они плывут в бесшумных своих лодках, и красноватое пламя освещает их лица. И я, словно Бог, учу их простым словам, самым первым и самым значительным.

Однако с грамотностью у “меднолицых моих” хуже некуда, до книг неохочи, учеба для них – и повинность, и какой-никакой отдых от непосильной, с ранних лет, работы в колхозе и дома...

Я ведь говорил, что учитель из меня не получится. Я не могу читать без конца “Я памятник себе воздвиг...” Я не воздвигал. Он тоже не воздвигал. Он шутил. Не делайте серьезных физиономий! А вам, чудаки, зачем эта программа? Учитесь говорить о любви вот так, в перерывах между школой и работой в хлеву. Торопитесь – нам немного отпущено.

– Давайте дополним программу, а? – смеюсь я.

А они молчат.

– Тот, кто составлял эту программу, никогда никого в жизни не любил...»

Возвращался после занятий в свою «келью» поздно совершенно опустошенный.

Не было ни сил, ни желания что-то писать, сочинять, а ведь надо было еще проверить тетради, приготовиться к завтрашним занятиям, протопить печь.

Так и сидел за столом с остановившимся взглядом, хлебал сваренный Галей из дешевой Козельской колбасы суп и выслушивал бесконечные жалобы младшего брата на одноклассников, на деревенскую нищету и убожество, и, конечно, на самого себя, на старшего брата, который завез его в эту дыру, где только и остается, что сдохнуть.

Директор школы Михаил Солохин дал Булату восьмые классы, а также классное руководство в шестом. Школяры, некоторые из которых выглядели старше своего учителя (было много второгодников), смотрели на Окуджаву с недоверием, принимая требовательность «городского мальчика» за заносчивость, а строгость – за надменность.

При таком положении дел, что и понятно, конфликты были неизбежны.

Например, Булат сразу предупредил, что никаких поблажек и скидок на тяжелые условия жизни не будет, что все находятся в одинаковом положении, всем трудно, и все обязаны учиться.

Директор школы и учителя, конечно же, встали на сторону детей, но вовсе не по причине своего повышенного гуманизма и филантропии, а потому, что ужасающие показатели по таким предметам, как русский язык и литература, кардинальным образом портили ежемесячные благообразные отчеты в облоно о достижениях и успехах в сельском образовании на местах.

Конфликт дошел до того, что Окуджаву вызвали на Шамординский педсовет, где обвинили в отрыве от коллектива, в высокомерии, в нелюбви к советским детям, также всплыла тема его неблагонадежности, так как он является «сыном врагов народа».

Булат был в бешенстве.

Неожиданно помощь пришла из Калуги.

Рассматривая жалобу директора школы тов. Солохина на учителя русского языка и литературы тов. Окуджаву, комиссия областного отдела народного образования, ознакомившись с предоставленными материалами, пришла к выводу, что тов. Солохин занимается очковтирательством и подтасовкой фактов, а также допускает грубейшие ошибки при решении кадровых вопросов в подведомственной ему школе.

Тогда ограничились выговором «без занесения».

Солохин был раздавлен.

Итак, Окуджава вышел победителем в том конфликте, и отношение коллег к нему сменилось с презрительного на подобострастно-уважительное, но он прекрасно понимал, что это временный успех, на него затаили обиду и не преминут воспользоваться его слабостью или ошибкой, чтобы тут же и утопить.

Доедал суп и отодвигал пустую тарелку.

Затем вставал из-за стола. Выходил на крыльцо, где закуривал.

Из деревни доносился лай собак.

В общежитии все спали.

Конечно, масштаб событий был совершенно несопоставим – деревенская свара в Калужской глубинке и большие аппаратные игры на уровне горкомов партии и политических группировок. Но именно сейчас, пристально всматриваясь в ночное осеннее небо и черную бесформенную громаду Казанского собора, Булат начал понимать, что же произошло с его отцом на самом деле.

Шалва Степанович Окуджава родился в 1901 году в Кутаиси. В 1918 году вступил в ряды РКП(б), с 1921 по 1922 год занимал должность заведующего отделом ЦК комсомола Грузии, учился на экономическом факультете первого Государственного университета, в 1924 году перешел на партийную работу, на должность заведующего агитационным отделом Тифлисского горкома партии, в 1929 году окончил институт марксизма-ленинизма, с того же года – член ЦК Грузии, однако, вступив в конфликт с Лаврентием Берией, был вынужден покинуть Тбилиси, при участии Серго Орджоникидзе в 1932 году получил должность секретаря парткома Уралвагонстроя, а в 1935 году стал первым секретарем Нижнетагильского горкома ВКП(б), всегда считал себя большевиком ленинского призыва.

Все знавшие Шалву Степановича отмечали его порядочность, бескомпромиссность и категорическое неумение быть партийным приспособленцем, что, видимо, и стало причиной его роковой размолвки с Берией. С другой стороны, Окуджава-старший, имевший до определенного момента тесные контакты с грузинскими анархистами и национал-большевиками, был не чужд разного рода жестким мерам при решении партийных и хозяйственных вопросов. И, наконец, в лице Серго Орджоникидзе Окуджава-старший имел весьма влиятельного покровителя, и потому до поры был лицом неприкосновенным, при том, что в партийных кругах у него было достаточно недоброжелателей.

Как видим, фигура сложная, многоликая и во многом типичная для своего времени, когда политическая борьба, внутривнутрипартийные дискуссии, поиск стратегических противников и попутчиков, разоблачение первых и сближение со вторыми были смыслом жизни, без остатка подчиненной *делу Ленина*. Правда, в 30-х годах к словосочетанию стали прибавлять: «Сталина», что у старых большевиков, хорошо знавших недоучившегося семинариста Кобу Джугашвили, вызывало усмешку.

Энергичный, никогда не унывающий – по крайней мере, таким запомнил сын отца. И, разумеется, человек с такой улыбкой просто не мог иметь «двойного дна», не мог лгать и предавать друзей.

*Он был худощав и насвистывал старьей,  
давно позабытый мотив,*

*и к жесткому чубчику ежеминутно  
его пятерня прикасалась.  
Он так и запомнился мне на прощанье,  
к порогу лицо обратив,  
а жизнь быстротечна, да вот бесконечной  
ему почему-то казалась...*

Следует понимать, что Шалва Степанович был не просто уверен в правильности своего выбора и своей идеи, он был фанатично предан им, был готов отдать за них жизнь, порой не умея при этом разглядеть в бытовой рутине коварства соратников по борьбе за «светлое будущее».

Декабрь 1934 года.

Шалва Степанович выступает на траурном митинге по убитому Сергею Мироновичу Кирову.

Речь его эмоциональна, он кричит, размахивает руками, он почти плачет, он говорит о том, что врагу не удастся запугать большевиков подлыми выстрелами в спину.

Булат стоит в толпе слушающих его отца и с ужасом убеждается в том, что на самом деле его никто не слушает, разносятся досужие разговоры вполголоса, смешки, видимо, травят анекдоты, курят в рукав, никому нет дела до этого кричащего человека, изо рта которого валит пар.

Но при этом все эти люди пришли на митинг, чтобы выразить свою скорбь и солидарность с погибшим Миронычем.

Булат теряется в догадках – что происходит? значит, все эти люди лгут? но что их заставляет лгать? страх? желание выслужиться перед начальством? подлая человеческая натура?

Отец заканчивает свою речь и сходит с трибуны.

Он разгорячен, он еще полон переживаний, ведь сейчас он вновь прочувствовал эту трагедию потери товарища, которого так любил и уважал.

Митингующие провожают оратора насмешливыми взглядами, но при этом одобрительно кивают головами и аплодируют.

Булату становится невыносимо обидно за отца, который в своем совершенно искреннем революционном запале, даже исступлении, не видит, что происходит у него за спиной. И в эту минуту хочется закричать: «Папа, оглянись, посмотри на этих людей, не верь им, потому что они смеются над тобой, они ждут только одного, когда ты оступишься!», – но сделать это, увы, невозможно.

18-го февраля 1937 года застрелился товарищ Серго.

Шалва Степанович Окуджава был арестован в тот же день.

Стало быть, он был обречен, и он понимал это, но уже не мог свернуть с пути, измениться, стать другим, пересмотреть взгляды, найти новых политически выгодных друзей, примириться с подлецами и забыть их подлость. Он, как тяжело груженный железнодорожный состав, на всех парах летел к своей гибели по путям, наудалую проложенным еще Ульяновым (Лениным), не отдавая при этом себе отчет в том, что давно проскочил стрелки и лавирование уже невозможно.

Когда отца казнили, ему было 36 лет.

Когда Булат стоял на крыльце учительского общежития в Шамордино, ему было 26.

Через десять лет они сравниваются в возрасте.

А что будет потом?

Докурил, затушил окурок в пепельнице, сооруженной из консервной банки, которая была прибита к перилам.

Нет, сейчас он не знает, как ответить на этот вопрос, сейчас он думает о том, как достичь этого возраста, с какими багажом к нему достойно прийти.

В мае 1951 года Булат Шалвович выпустил свой первый класс.

Сохранилась фотографическая карточка, на которой Окуджава в окружении учеников позирует безмянному фотографу на фоне зарослей бересклета.

В первом ряду девочки – числом девять.

Лица сосредоточенные, одеты празднично, только одна улыбается.

А потом и одиннадцать мальчиков – не улыбается никто, все в пиджаках, модные прически того времени – с высоким начесом, виски и затылки аккуратно выбриты, взгляды строгие, недетские.

Все участники съемки (в том числе и Виктор Шалвович Окуджава, закончил школу с серебряной медалью) смотрят прямо перед собой, в объектив фотоаппарата, разве что Булат повернулся на три четверти.

Кажется, что он уже принял решение и знает, куда проляжет его дальнейший путь, не в смысле целеуказания, а в смысле осознания того, что поиск внутренней свободы не является обязательным к исполнению всеми теми, кто тебя окружает. Каждый заслуживает своего удела, своей судьбы, и никого нельзя насильно осчастливить. Нужно просто вовремя отойти в сторону, предоставив «мертвым погребать своих мертвецов».

Вполне возможно, что зерна в Шамордино упали не на каменистую почву и не в придорожной пыли, вполне возможно, что «меднолицые ученики» Булата если не слышали, то хотя бы узнали, что можно слышать нечто, не относящееся к их тяжелой повседневной жизни, которая этой самой тяжестью вовсе не исчерпывается. Но данная страница в жизни молодого учителя была перевернута бесповоротно, а продолжение изнурительной и бессмысленной борьбы с административной рутинной под пристальными и недоброжелательными взглядами коллег просто не имело смысла.

Из Шамордино уехали в июне и тоже на грузовике. На сей раз, правда, не на армейском, а на колхозном с Козельской автобазы.

Галю опять посадил в кабину (Витя к тому времени уже был в Москве, поступал в МГУ), а сам забрался в кузов.

Напоследок оглянулся.

Нет, никто ему вслед не смотрел, как тогда в Перемышле с выгоревшего на солнце плаката, что висел над входом в дом пионеров. Разве что циклопические, красного кирпича сооружения Казанского Шамординского монастыря, куда к своей сестре в октябре 1910 года приезжал Лев Николаевич Толстой, безмолвно нависали над ним, над гравийкой, по которой неслись грузовик, да над поймой реки Серёны.

Итак, новый учебный год Окуджава встретил уже в средней школе райцентра Высокиничи, расположенного на полпути между Серпуховом и Малоярославцем.

Здесь преподавательский коллектив разительно отличался от Шамординского. Так как по распределению в райцентр прибыли выпускники московских вузов, то довольно быстро тут сложилась дружная и веселая компания молодых учителей, в которой Булат и Галя заняли не последнее место.

Вместе ходили на Протву, о которой спустя годы Окуджава неожиданно скажет: «Протва – исток моей жизни», а еще допоздна сидели у костра на высоком берегу, который тут назывался Коряжка, и пели под гитару.

Вполне возможно, что и эту песню, одну из первых Окуджавы:

*Неистов и упрям,  
Гори, огонь, гори...  
На смену декаблям*

*Приходят январь.*

*Пусть все дано сполна –  
И радости, и смех,  
Одна на всех луна,  
Весна одна на всех...*

Неистовство и упрямство – об этих качествах Булат знал не понаслышке.

Ашхен Степановна Налбандян (мама Булата Шалвовича) родилась в 1903 году в Тифлисе. Окончила институт народного хозяйства имени Плеханова в Москве по специальности «экономист текстильной промышленности». В конце 20-х – начале 30-х годов работала по профессии в Москве и Тбилиси. С 1931 года – инструктор горкома партии, работала вместе с С.М. Кировым. В 1935 – 1936 годах – заведующая отделом кадров на Уралвагонстрое в Тижнем Тагиле.

После ареста мужа – Шалвы Степановича Окуджавы вместе с детьми переехала в Москву, где с 1938 по 1939 год работала плановиком на швейной фабрике, занималась общественной работой. В феврале 1939 года арестована и осуждена на пять лет по статье 58-10 части 2 УК РСФСР, срок отбывала в Карагандинских лагерях ГУЛАГа НКВД СССР. Находясь в заключении, работала экономистом-финансистом в лагерном совхозе. Освобождена в 1946 году и до 1949 года проживала в городе Кировокане Армянской ССР (вместе с младшим сыном Виктором), где работала старшим бухгалтером на трикотажной фабрике. В мае 1949 года была осуждена повторно и приговорена к ссылке на поселение в село Большой Улуй Красноярского края. В июле 1954 года освобождена.

Стало быть, когда Булат в должности преподавателя литературы и русского языка начал свой второй учебный год в средней школе Высокиничей, его мать отбывала второй срок в Красноярском крае.

*Чуть за Красноярском – твой лесоповал.  
Конвоир на фронте сроду не бывал.  
Он тебя прикладом, он тебя пинком,  
Чтоб тебе не думать больше ни о ком.  
Тулуп на нем жарок, да холоден взгляд...  
Прости его, мама: он не виноват,  
Он себе на душу греха не берет –  
Он не за себя ведь – он за весь народ.*

Эти строки из стихотворения Булата Шалвовича «Письмо к маме», написанные в 1975 году, вполне возможно, стали проекцией всей переписки сына и матери, которая, увы, не сохранилась, и судить о содержании которой мы можем лишь умозрительно, лишь воображая, как бы реагировал Булат на скупые заметки Ашхен о своем лагерном быте и как могла бы относиться мать к вестям о жизни сына без нее, о его учебе в университете, о мытарствах с распределением, о семье, о его новых стихотворениях.

Так далеко, так близко...

...когда воспоминания становятся реальностью, когда невозможность видеть любимого человека уравнивается осознанием того, что он просто где-то есть и с ним возможно себе-седовать мысленно, живя надеждой на то, что встреча неизбежна, но пока по не зависящим ни от кого причинам просто откладывается.

Конечно, речь в данном случае идет о вечном как мир противостоянии разума и чувства, и далеко не всегда удается быть сильнее собственных эмоций, в чем потом, как правило, приходится раскаиваться.

Спустя годы, когда разговор заходил о родителях, Булат Шалвович с сожалением замечал, что, увы, ему не хватило любви и внимания матери и отца (когда Шалва Степанович еще был жив), ведь они были полностью погружены в работу, посвящая ей все свое время. Общение же с сыном было скорее эпизодическим и, видимо, поэтому ярким и запоминающимся. Булат жил ожиданием новой встречи, которая могла произойти через месяц, через три месяца, через полгода.

После ареста Шалвы Степановича Ашхен Степановна, казалось, вобрала в себя всю энергию и неистовство мужа – большевика-ленинца, упрямо преодолевая нечеловеческие трудности, обрушившиеся на нее и на ее детей, но не сворачивая при этом с раз и навсегда выбранного пути – общественника, революционера, борца.

Вполне возможно, что ее фанатизм и непреклонность пугали и одновременно восхищали Булата.

Здесь, скорее всего, сошлись воедино не только приобретенные за долгие годы партийной борьбы качества, но и врожденные черты характера, пришедшие еще из детства.

Спустя годы Булат Шалвович так напишет о своей матери и ее армянских родственниках: «Прадедушку и прабабушку не знаю. Дедушка – Степан Налбандян был машинистом на... водонапорной станции, увлекался столярным делом. Всю мебель в своем доме соорудил сам, да еще какую, с художественной резьбой, где аисты выглядывали из зарослей, окруженные <...> и изощренным орнаментом. Господствовали классические формы, те самые, из-за которых сейчас ломают головы; кроме того мой дедушка любил чтение, хотя времени на это было мало. Он был вспыльчив, но отходчив. Под горячую руку лучше было ему не попадаться, зато в другие минуты его сердце и крепкая шея были к вашим услугам. Он женился на бабушке, Марии Варгановне Хачатурян, когда ей было шестнадцать. Ее отец был торговцем на Авлабаре, и довольно зажиточным. Как он отдал свою юную дочь за рабочего – непонятно. У меня фотография дедушки и бабушки той поры. Они красивы на ней и полны мягкого достоинства, и, видимо, без любви там не обошлось. У них было много детей: Сильвия, Гоар, Анаида, Ашхен, Рафаэль и Сирануш.

Ашхен – моя мама.

Семнадцати лет она вступила в партию большевиков, во времена меньшевистского подполья. Теперь невозможно объяснить, почему именно она включилась в эту тайную, опасную жизнь, не походя на своих сестер – ... благонамеренных невест. Правда, мне рассказывали, что в детстве она не играла в куклы, а предпочитала стрелять из рогатки, лазить по деревьям вместе с мальчишками».

По воспоминаниям людей, знавших Ашхен Степановну, она всегда производила впечатление человека целеустремленного, всегда была подтянута, аккуратно до чопорности одета, немногословна, остроумна, решительна, было в ее внешности что-то аристократическое, и даже отбыв два срока, она мало изменилась внешне, невзирая на все лишения, перенесенные ею в ГУЛАГе.

С возрастом Булат все чаще задумывался над смыслом той жертвы, которую этому безумному выбору, этому движению напролом через моря крови и горы трупов, через смерть родных и близких принесли его родители.

Мысль рождалась мучительно, выводы страшили, силлогизм обескураживал – жертвой были не только сотни тысяч безымянных соотечественников, но и он сам, а также его младший брат.

От осознания подобного становилось еще тяжелей.

Единственное, что ему придавало силы, так это, как ни странно, возможность много думать в этой глухой Калужской провинции, пытаться разобраться в самом себе, перебирать детские воспоминания, полностью приняв неспешный ритм местной жизни за единственно возможный и правильный.

По воспоминаниям питомцев Окуджавы, его стиль ведения занятий разительно отличался от того, с чем им приходилось сталкиваться раньше. Булат Шалвович почти не пользовался учебником, рассказывая о том или ином литераторе или о его произведении, он непременно цитировал наизусть отрывки из его сочинений, будь то стихи или прозаический текст, учил не тупо зубрить, а пытаться вдуматься в текст, уловить в нем мысль, услышать в нем музыку. Нередки были случаи, когда заинтересованное обсуждение продолжалось и после звонка с урока, чего раньше в средней школе Высокиничей, наверное, не случалось никогда.

Однако сталинская рутина давала о себе знать.

Все началось с неявки преподавателей Новикова Ивана Григорьевича, Окуджавы Булата Шалвовича, Прошляковой Галины Алексеевны и Суховицкой Майи Семеновны на праздничную демонстрацию 7 ноября.

Портреты членов Политбюро ЦК ВКП (б) и самодельные плакаты «Долой власть капитала!», «Сталин ведет нас к победе» и «Великому Октябрю – слава!» по центральной улице Высокиничей пронесли местные агрономы, рабочие слесарных мастерских, партийные работники, доярки из подшефного колхоза и учащиеся старших классов, колонну которых возглавил директор школы Михаил Илларионович Кочергин.

Оргвыводы последовали незамедлительно.

На педсовете прогульщикам мероприятия был вынесен устный выговор-предупреждение. Более того, после проведенной проверки «вдруг» выяснилось, что тов. Новиков, Окуджава, Прошлякова и Суховицкая халатно относятся к своим обязанностям. В частности, «внешний вид тетрадей учащихся 5–6 классов оставляет желать лучшего, они сильно помяты, на их листах много чернильных пятен, у многих тетрадей не соблюдены поля, многие учащиеся отчеркивают поля небрежно, каллиграфия письма учащихся в большинстве случаев плохая, преподаватели не отражают в тетрадях борьбы за хорошую каллиграфию... также необходимо усилить внеклассную работу с учащимися, устраивая вечера чтения художественной литературы, читательские конференции, просмотр диапозитивов, кинокартин учебного характера, устройство выставок из монтажей художественных репродукций, фотографий и рисунков на литературные темы».

Понятно, что, ознакомившись с подобным перечнем претензий и обязательных к выполнению задач, Булат в очередной раз осознал, что всем этим чиновникам, партийной номенклатуре, бюрократам от педагогики абсолютно безразличны дети, главное, чтобы правильно были заполнены все отчеты, подписаны все бумаги и соблюдены все циркуляры Министерства просвещения. Если бы «преподаватели отразили на полях борьбу за хорошую каллиграфию», если бы прошли «выставки из монтажей художественных репродукций», о которых следовало отчитаться подобающим образом, а если бы еще и приняли участие в несении портретов членов Политбюро ЦК ВКП (б), то никаких претензий к учителям бы не было.

Да, это была система, и проламывать ее Булат не собирался, прекрасно понимая, что его усилия не только совершенно бесполезны, но и небезопасны.

Очередным витком конфронтации с этой самой системой стал *самовольный отъезд* (по версии директора М.И. Кочергина) учителей (Окуджавы в том числе) в Москву в конце первого полугодия, а именно в конце декабря 1951 года.

Из приказа заведующей районным отделом народного образования тов. Свириной: «В связи с самовольным оставлением работы с 29 декабря 1951 г. по 10 января 1952 г. включительно и допущенным прогулом 10 дней учителем Высокинической средней школы Окуджава Б.Ш., приказываю: Учителя Окуджава Б.Ш. вплоть до особого распоряжения Калужского

ОблОНО до работы не допускать и до 12/1 передать дело на него в народный суд для привлечения к судебной ответственности. Зав РОНО Свирина».

Эта бумага вызвала взрыв возмущения среди молодых Высокиничских учителей, друзей Булата. Галина Прошлякова и Майя Суховицкая написали письмо в «Комсомольскую правду», в котором изложили суть дела – Окуджава имел устную договоренность с Кочергиным (на отъезд в Москву), от которой директор потом открестился. И ответ последовал незамедлительно – из столицы прибыла министерская комиссия.

По результатам непродолжительного, следует заметить, разбирательства приказ объявили недействительным, а тов. Свирина и Кочергин были сняты с занимаемых должностей.

История повторилась, Булат должен был торжествовать, противник оказался вновь повержен, но и этот этап был для него уже пройденным, ничего доказывать работникам народного просвещения он не собирался. Ему было это просто не интересно, и не тем он был человеком, чтобы самоутверждаться за чей-либо (в данном случае – не совсем умных и недостаточно хорошо образованных людей) счет.

Из романа Б.Ш. Окуджавы «Свидание с Бонапартом»: «Кстати, я тоже положил себе за правило не спорить с людьми. С умным спорить нечего, ибо он, обуреваемый сомнениями, не позволит себе не уважать вашей слепоты. А уж с глупцом или с невеждой и подавно: они всегда столь самоуверенны, что вы для них ноль. Спорить с ними – напрасная затея...»

Довольно часто бывая в Калуге по сфабрикованному Кочергиным против него «делу», Окуджава познакомился с педагогами школы № 5 на улице Дзержинского, которые и предложили ему место учителя литературы (скончалась старая преподавательница, и Булат появился в Калуге как нельзя более кстати).

Итак, в середине февраля он вышел на новое место работы.

Галина же осталась дорабатывать учебный год в Высокиничках.

Из воспоминаний учеников и коллег Окуджавы в Калуге:

Леонид Чирков: «Булат Окуджава вел у нас литературу, когда я учился в 8-м классе... Мы как раз проходили Пушкина, «Евгения Онегина»... Уроки литературы стояли в расписании последними и со звонком не заканчивались. Очень часто мы оставались, и он читал нам произведения многих писателей, которых мы тогда в силу разных причин просто не могли знать».

Ида Копылова: «Окуджава был друг и учитель... Мы пришли в школу почти одновременно целым коллективом, поэтому необыкновенно дружили. Знаете, как я его называла? Булочка. И при встрече в последние годы он только и слышал от меня, что он Булочка».

Очевидно, что в пятой школе Булат наконец почувствовал вкус к преподаванию как к своего рода творчеству, причем творчеству, свободному от убивающих все живое идеологических и бюрократических наслоений.

О даре импровизации словесника Окуджавы говорили все, кто соприкасался с ним по работе в ту пору. Например, беседы о Пушкине или Лермонтове запросто могли перерасти в обсуждение «Слова о полку Игореве», отрывки из которого питомцы Булата учили с воодушевлением и энтузиазмом, а анализ «Записок охотника» Тургенева неожиданно получал продолжение в разборе популярного в ту пору романа Ивана Ефремова «На краю Ойкумены».

Бывали, опять же, случаи, когда Окуджава читал свои стихи, и они подвергались коллективной критике, пусть и простодушной, наивной, порой даже примитивной, но искренней и беззлобной, потому что ученики любили своего учителя.

Однако в текстах о Калужском эпизоде своей жизни, написанных Булатом Шалвовичем годы спустя, пробиваются интонации человека страдающего, обиженного и загнанного «свинцовой мерзостью» жизни в тупик, когда больше не осталось сил для убеждения самого себя в том, что все хорошо.

Читаем у Окуджавы: «Я снимал угол в домике на окраине. Стояла гнилая осень. Ученикам я не нравился, и они отравляли мое существование. Друзей еще не было. Жить не хотелось. И вот однажды подошел ко мне в учительской преподаватель физкультуры Петя и сказал: – Я гляжу, ты все один да один. Может, вечером под шары сходим? Ну, ресторанчик такой, под шарами...

И мы отправились... Нам, не спрашивая, подали по граненому стакану с водкой, по кружке пива и по порции котлет с лапшой. Выпили – разговорились. Помню, было хорошо, легко, сердечно. Вывалились оттуда в полночь, обнялись и зашагали по пустым улицам... что-то такое пели громко, хором. Расставаться не хотелось... И так продолжалось несколько месяцев, пока не произошло необъяснимое чудо. И я вернулся к себе самому».

31 августа 1953 года Окуджава по собственному желанию уволился из пятой Калужской школы на улице Дзержинского и перешел на работу в газету «Молодой ленинец», сделав таким образом еще один шаг навстречу собственной поэзии.

*Поэзия в столовке заводской,  
где щи кипят, где зреют макаронны,  
где ежедневно, как прибой морской,  
ты переходишь в бой из обороны.*

Через три года Булат уедет в Москву, чтобы забыть о своей педагогической деятельности навсегда.

## Глава 2

В один из солнечных мартовских дней 1937 года во двор дома № 43 на Арбате вошел блатной по прозвищу Холера. Никто не знал толком, как его зовут, одни говорили, что Степаном, другие – что Василием, а третьи утверждали, что это не кто иной, как Леонид Иванович Пантёлкин, чудом избежавший расстрела еще в двадцать третьем году. О нем многие слышали, и его боялись не только на Арбате, но и на Плющихе, в Дорогомилове и даже на Потылихе.

Расслабленной походкой Холера миновал оторопевшую при виде него дворовую ребятню, даже кого-то походя похлопал по плечу, после чего вальяжно расположился на скамейке, широким жестом достал из кармана пальто папиросы «Кино» и закурил.

Было видно, что он находится в благодушном настроении, и потому первый шок от появления «великого и ужасного» прошел сам собой довольно быстро, хаотическое движение по двору возобновилось.

Сделав несколько затяжек и выпустив дым из ноздрей, Холера уравнивал козырек кепки указательным пальцем без ногтя и, обращаясь куда-то вверх голов, произнес:

– Ну что, кто с мной в пристенок?

И сразу наступила гробовая тишина, словно заговорили стены двора-колодца, словно разверзлись уста у глухонемого дворника Алима Файзуллина. Но нет, никто не ослышался, сам Холера предлагал *сыгрануть* с ним в пристенок.

– Повторяю еще раз: кто со мной в пристенок будет? – голос его повысился, но при этом не утратил своего абсолютно необъяснимого и даже какого-то отеческого радушия.

– Я буду! – шаг вперед сделал астенического сложения мальчик с большими темными, не улыбочивыми, словно бы остановившимися глазами.

– Ну и как тебя как зовут?

– Булатом.

– Грузин что ли?

– Да, – мальчик остановится ровно перед Холерой и уставился на него, не отводя глаз.

– Деньги-то есть у тебя, Булат? – Холера сделал ещё пару затяжек, закусил желтыми кривыми зубами папиросу, задвигал острыми потрескавшимися губами, затем неспешно встал со скамейки и в развалку подошел к кирпичной стене дома. Толпа почтительно расступилась перед ним.

– Есть деньги.

– Вот и хорошо, – сказал и протянул руку. Булат протянул руку в ответ.

Так всегда делали перед началом игры – прикладывали ладони и выбирали одинаковое расстояние между пальцами, чтобы все было по-честному и тот, у кого ладонь больше, не имел бы преимущества перед своим противником во время измерения расстояния между упавшими монетами.

– Не боишься? – Холера повертел своей огромной, как лоток совковой лопаты, ладонью перед лицом Булата.

– Не боюсь.

– Смелый шкет, – усмехнулся блатной, – я первый кидаю.

*Во дворе, где каждый вечер все играла радиоло,  
Где пары танцевали, пыля,  
Все ребята уважали очень Леньку Королева  
И присвоили ему званье Короля.*

*Был Король – как король, всемогущ, и если другу*

*Станет худо, иль вообще не повезет,  
Он протянет ему свою царственную руку,  
Свою верную руку и спасет.*

На самом же деле в тот солнечный мартовский день все было не так.

Первый кон взял Окуджава.

Потом кинул неудачно и проиграл.

Побледнел, почувствовал, как ярость и отчаяние одновременно приливают к голове, а Холера меж тем просто гонял папиросу из одного угла рта в другой, пританцовывал и напевал что-то типа:

*Торчит Ширмач на Беломорканале,  
Таскает тачку, двигает кайлой,  
А фраера тройне богаче стали.  
Кому же взяться опытной рукой?*

И показывал всем дворовым эту самую «опытную руку».

А потом Булату вдруг повезло. Он взял кон, за ним еще, а потом еще. По толпе прокатился ропот изумления и недоумения – возможно ли такое, чтобы у самого Холеры выигрывать?

Улыбочка тут же и сошла с лица блатного.

– Ты что ж творишь-то, малец? – сплюнул папиросу, приноровился и кинул опять не лучшим образом, – а ну, дай ка я замерю.

Распластал свою огромную ладонь на полдвора и сгреб деньги.

– Так нечестно, – только и сумел проговорить, давясь от подступивших к горлу слез, Окуджава.

Двор одобрительно загудел в ответ.

– А ну ка, *ша*, черти! – добродушная наглость вновь вернулась к Холере, разве что с примесью какого-то хмельного идиотизма. Вихляющей походкой он подошел к Булату, размахнулся и со всей силы ударил его по лицу. Тринадцатилетний мальчик упал на землю, и из носа пошла кровь.

Из романа Б.Ш. Окуджавы «Свидание с Бонапартом»: «И вот в конце Арбата подлая природа надоумила меня завернуть в ближайший двор в поисках укромного уголка. Растреклятый дурень, оставив коня на улице у самых ворот, углубился во двор, там дом с заколоченными ставнями, справа каретный сарай с антресолями и распахнутой дверью, я это запомнил, свернул за сарай, и тут... из-за угла с диким криком кинулся мне навстречу пьяный мужик с красными глазами, замахнулся и ударил ржавой острогой... Когда я очнулся, никого рядом не было. Крови натекло с полведра, ей-богу».

– Вопросы?! – истошно заблажил блатной, после чего икнул и прищурился, – нет вопросов у бродяг!

Потом он отобрал у Окуджавы все выигранные им деньги, торжественно закурил, сплюнул и неспешно вышел со двора.

Сюда, на Арбат, в дом № 43, в коммунальную квартиру № 12 на четвертом этаже (бывшая квартира фабриканта Коневского), их с братом привезла мать, Ашхен Степановна, когда в Нижнем Тагиле арестовали отца.

Просто ехать было больше некуда, и тут, в Москве, началась совсем другая жизнь, отличная от той, которую вела семья первого секретаря Нижнетагильского горкома ВКП(б) в бывшем особняке купца Малинина на улице Восьмого марта, 49.

Еще там, в Нижнем Тагиле, Булат слышал от отца, как жили рабочие на строительстве комбината – в бараках, в коммуналках, в землянках. Слышал, но не отдавал себе отчета в том, что это было на самом деле – что это не просто биение воздуха, не просто слова о том, что происходило где-то далеко, в другой и чужой жизни, которая ему была безразлична.

Отец, играя желваками, рассказывал Ашхен Степановне:

– Я ходил по баракам и задыхался от невыносимого смрада. Всякий раз вздрагивал, попадая в это адское жилище, словно погружался в развороченные внутренности гниющей рыбы, не понимал, как можно так жить. Эти люди, теперь зависимые от меня, жили семьями, без перегородок, здоровые и больные, вместе с детьми. Деревянные топчаны были завалены ворохами тряпок, а на большой кирпичной плите в центре барака в многочисленных горшках и кастрюлях варилась зловонная пища!

Мать успокаивала отца, просила не быть таким эмоциональным, говорила, что это необходимость, что это временные трудности, что именно ради светлого будущего этих людей партия вынуждена сейчас идти на крайние меры.

Конечно, коммуналка на Арбате – это была совсем другая история, но рассказ Шалвы Степановича вдруг ожил, перешел из разряда эмоционального пустословия (по мысли сына) в разряд яви, реальности, с которой надо смириться и в которой надо жить.

Восемь соседей.

Одна уборная и один рукомойник на всех.

Ютятся везде – не только в перенаселенных комнатах, но и в подсобках и чуланах.

Пьяные скандалы и футбол в коридоре каждый Божий день.

Постоянный и невыносимый запах готовки с кухни.

Вонь грязного, не стираного годами белья.

Кто-то вечно болеет и кашляет.

Неизвестные люди, за которыми по ночам приходит милиция.

Грохот захлопывающихся дверей.

Драки.

Включенная с утра до ночи радиоточка.

Общественные душевые в Староконюшенном переулке.

*В арбатском подъезде мне видятся дивные сцены  
из давнего детства, которого мне не вернуть:  
то Ленька Гаврилов ухватит ахнарик бесценный,  
мусолит, мусолит, и мне оставляет курнуть!*

Впоследствии в одном из интервью Булат Шалвович скажет: «В нем (в Арбатском дворе) столько было всякой мерзости – жулики, уголовники, проститутки. Грязь, матерщина... Жили мы впроголодь. Страшно совершенно. Учился я плохо. Курить начал, пить, девки появились. Московский двор, матери нет, одна бабушка в отчаянии. Я стал дома деньги поворовывать на папиросы. Связался с темными ребятами. Как помню, у меня образцом молодого человека был московско-арбатский жулик, блатной. Сапоги в гармошку, тельняшка, пиджачок, фуражечка, челочка и фикса золотая. Потом, в конце 40-го года, тетка решила меня отсюда взять. Потому что я совсем отбился от рук, учиться не хотел, работать не хотел».

Из школы, расположенной в Кривоарбатском переулке, домой пробирались через проходные дворы, где, бывало, и «застревали» до позднего вечера, а по выходным и на праздники ездили в Сокольники «прошвырнуться».

По воспоминаниям одноклассника Булата Павла Соболева, «ездили мы вместе в Сокольники с ружьишком... наберем лампочек перегорелых от радиоприемников и стреляем по ним».

Стало быть, постреливали.

Домой возвращался поздно, когда все спали. Брат точно спал и бабушка тоже, впрочем, могла делать вид, что спит.

Мать была на работе.

Старался незаметно пробраться за свой шкаф, которым была разгорожена комната, и, не раздеваясь, без сил падал на кровать.

Булату снился один и тот же сон.

Он идет по лесу вместе с Дергачевым.

Этот лес начинается недалеко от их дома, где он жил с родителями и младшим братом в Нижнем Тагиле.

Какое-то время они идут в полном молчании, и только треск сухих веток под ногами стоит в ушах. Наконец, выбравшись на поляну, останавливаются, смотрят по сторонам, никого нет. И тогда Булат достает из кармана браунинг. Дергачев замирает в полном восхищении, такого он еще не видел никогда. Это настоящий наградной пистолет Шалвы Степановича, который он несколько лет назад получил за особые заслуги перед ВКП(б).

Мальчики передают браунинг друг другу, прицеливаются, делают вид, что стреляют.

– Вот бы по-настоящему стрéльнуть, – мечтательно произносит Дергачев.

– Иди к тому дереву, – Окуджава решительно берет пистолет и снимает его с предохранителя, – смотри, как я сейчас в него попаду.

Дергачев бросается вперед, а Булат начинает поднимать оружие, стараясь уследить за гуляющей мушкой, в поле зрения которой попадает то дерево, то спина бегущего Дергачева, то снова дерево...

Все плывет перед глазами.

Нажимает на спусковой крючок и сразу же просыпается.

Вскакивает на кровати.

Идет в конец коридора к рукомойнику, долго моет лицо и сто раз повторяет себе одно и то же: ведь в том, что произошло тогда в лесу, он не виноват, просто они играли, дурачились, он не специально, он никак не ожидал, что попадет в Дергачева, и ведь не убил же его в конце концов, только ранил, пуля прошла навывлет, а потом, когда встретил Дергачева на улице, то бросился к нему, чтобы извиниться, но Дергачев ударил его по лицу.

Как Холера – со всей силы, и из носа пошла кровь.

Потом вернулся в комнату.

– Булатик, почему ты не спишь? – глухо донеслось из противоположного угла комнаты.

– Не спится, бабушка.

– Спи, голубчик, спи, утро вечера мудренее.

И от этих слов почему-то стало еще хуже.

Из воспоминаний Булата Шалвовича: «Во дворе становилось легче. Тут бушевали иные страсти, их грохот сотрясал землю, но это был возвышенный грохот, а не томительное, почти безнадежное домашнее увядание. Шла гражданская война в Испании, все было пронизано сведениями о ней, в мыслях о ней растворялись изможденные лица мамы и бабуси, их глухие голоса».

В шестом классе Булат перешел в школу в Дурновском переулке (ныне ул. Композиторов), но друзья остались те же, другое дело, что домой теперь шел не со стороны Сивцева Вражка, а со стороны Собачьей площадки, пересекал переулок Каменная слобода и выходил к церкви Спаса на песках, от которой уже был виден его дом.

А бабушка тем временем стояла у окна и следила за тем, как ее внук бредет вдоль церковной ограды, как пинает ногой снежную глыбу или кучу осенних листьев, наконец, как выходит на Арбат, останавливается тут, дожидаясь, когда можно будет перебежать дорогу, перебегает ее и исчезает в подворотне.

Дома и во дворе были два разных человека, два разных Булата.

Читаем в «Упраздненном театре»: «Он торопился домой, но бабусины причитания были невыносимы, а душа рвалась во двор, где домашние несчастья тускнели и никли... Когда же он со двора уходил домой и дверь лифта захлопывалась, он преображался и из лифта выходил почти совсем взрослым человеком, обремененным свалившимися на семью заботами. К счастью, форма, в которую были заключены его душа и тело, оказалась податливой, почти каучуковой, и она, хоть и болезненно, но приспособилась все-таки, приноровилась, притерлась к новым обстоятельствам. Время летело быстро. Уже начало казаться, что счастья никогда и не было и было всегда это серое, тревожное, болезненное ожидание перемен. Где-то здесь, за ближайшим поворотом».

Булат выходил из подворотни, заворачивал в подъезд и нажимал кнопку лифта.

И тут же в недрах дома оживал электрический мотор, сопровождаемый однообразным гулом лебедки, что выпускала в шахту раздвоенный, как змеиный язык, густо смазанный тавотом металлический трос.

Откуда пришла эта раздвоенность?

Ведь родители были людьми прямолинейными, принципиальными и несгибаемыми, за что и поплатились в конце концов. Или все было не совсем так, как декларировалось, и подверглись репрессиям они по какой-то иной причине?

Лифт останавливался на первом этаже.

Булат входил в кабину, захлопывал металлическую дверь и нажимал кнопку с цифрой «четыре».

Итак, обо всем по порядку.

В августе 1934 года семья Шалвы Степановича Окуджавы, на тот момент комиссара дивизии, члена ЦК Грузии, секретаря парткома Уралвагонстроя, приезжает в Нижний Тагил.

Столь высокого назначенца разместили в трехкомнатной квартире в только что построенном двухэтажном доме со всеми приходящими – дворник, прислуга. Через год, когда Шалико (так домашние звали Шалву Степановича) получил должность первого секретаря Нижнетагильского горкома партии, его семья переехала в бывший особняк купца Малинина на улице Восьмого марта. В школе умный, общительный, красивый Булат Окуджава сразу стал негласным лидером, или, как это было принято говорить в то время, «заводилой». Ни одно коллективное мероприятие не проходило без него, всегда и везде он был первым.

Из воспоминаний Иосифа Бака, одноклассника Б.Ш. Окуджавы: «Булат был очень красивым мальчиком. Большие карие глаза, обрамленные ровными, словно подбритыми бровями, густые, кудрявые волосы, маленький правильный нос на бледно-матовом лице. Все девочки класса сразу влюбились в него... Учился Булат хорошо, но не был отличником. Обладая хорошей памятью, он все схватывал на уроках, а вместо выполнения домашних заданий много читал... Он сразу стал, что называется, лидером в классе, сгруппировал вокруг себя 8–10 мальчиков и верховодил ими. С ним было интересно. Он постоянно что-то придумывал и заражал этим всю компанию».

Также он любил приглашать одноклассников к себе в гости, чтобы показать им, как живет. Для многих эти визиты, что и понятно, становились шоком, ведь подавляющее большинство юных нижнетагильцев обитали в деревянных бараках в коммуналках (о впечатлениях Шалвы Степановича от посещения этих трущоб мы уже писали выше).

Конечно, по вечерам за ужином (после ухода гостей) Булат недоумевал, почему они живут, «как буржуи», почему у них есть все, а у его друзей нет ничего (надо думать, что этот вопрос нередко звучал и среди его одноклассников). Однако отец и мать с улыбкой объясняли сыну, что они выполняют очень ответственную работу, что партия доверила им руководить гигантским производством, тысячами людей, и поэтому они должны хорошо питаться и отдыхать, ведь на них лежит громадная ответственность. Но если партия вдруг прикажет им стать рядовыми сотрудниками Уралвагонстроя, то они как настоящие большевики станут ими

и будут работать вместе со всеми в цеху, перевыполняя план, однако сейчас они руководители, и потому сравнивать их с обычными рабочими бессмысленно.

А потом отец гладил сына по голове и говорил:

– Отбой, завтра рано вставать.

Булат шел к себе в комнату.

Конечно, ни Шалва Степанович, ни Ашхен Степановна никогда не говорили своему сыну, что занимают столь высокие посты, потому что они умней и образованней других, но в голове десятилетнего мальчика интуитивно складывалось понимание того, что он и его семья – это люди другого сорта, что они и есть «высший класс» страны Советов и поэтому им многое дано и многое позволено.

Осознание этого приходило постепенно, хотя отец, разумеется, довольно часто наставлял сына не возноситься, не кичиться перед друзьями тем, что у него есть, а у них нет, но сам образ жизни семьи Окуджава говорил об обратном, и юному Булату было просто не под силу переварить это раздвоение, когда между партийным руководством страны и рядовым населением этой же страны зияла неизбывная пропасть. Он просто был вынужден принять те условия, в которых жил, за абсолютно справедливые и единственно верные, а нищету и дикость «низшего класса» относил на счет пережитков прошлого, с которым решительно борются его родители.

Итак, навык быть разным – перед одноклассниками одним, а перед родителями и людьми их круга другим, – формировался как закономерный результат объективных законов выживания. Вполне возможно, что Булату претил упертый максимализм его родителей, но и опроститься до уровня уличных друзей он тоже не мог.

Хотя к последним его тянуло просто потому, что он был мальчиком.

Однажды после уроков к Булату неожиданно подошел долговязый, с вечно чумазым лицом, второгодник по фамилии Дергачев. Говорили, что к тому моменту он уже бросил школу и работал на заводе.

– Хочешь, покажу, как поджигной стреляет?

Булат задохнулся от счастья:

– Конечно!

– Ну, пошли тогда...

Через дырку в заборе выбрались на зады школы, потом миновали рабпоселок и вошли в лес.

– Далеко еще?

– Нет, рядом уже, сейчас к грачам выйдем, – подмигнул Дергачев.

– К каким грачам?

– Увидишь.

Прошли перелесок, миновали овраг с остатками каких-то деревянных построек и ржавой брошенной техникой и вышли на поляну, на краю которой высилась огромная суковатая береза, густо, как комками саж, залепленная грачиными гнездами.

Дергачев остановился и достал из кармана поджигной – к вырезанной из дерева пистолетной рукоятке проволокой была примотана короткая металлическая трубка, сплюснутая с одного конца.

Присел на валежину и начал неспешно заряжать самопал-пугач.

– Далеко бьет? – поинтересовался Булат.

– До березы как раз и бьет, – улыбнулся Дергачев, прикрепил к затравочному отверстию поджигного несколько спичек и подпалил их.

Раздался громкий хлопок, за которым последовал плевок густого вонючего дыма.

– Есть! – Дергачев запахнул поджигной за пояс и побежал к дереву. Булат кинулся за ним. На земле, среди корней, бился подстреленный грач.

– Зачем ты его?

– Как зачем? – недоуменно гаркнул Дергачев. – Сейчас есть его будем...

Дома Булат, конечно, ничего не рассказал родителям, только сообщил, что ужинать не будет, потому что ему нездоровится.

Пошел к себе в комнату, лег на кровать, отвернулся к стене и закрыл глаза. Больше всего сожалел о том, что зачем-то рассказал Дергачеву о том, что у его отца есть наградной пистолет, что он его возьмет тайком и они обязательно постреляют в лесу.

*И ты берешь пугач (к нему привык),  
к виску подносишь – он к виску приник,  
смеешься ты: ведь он не убивает...  
Но в принципе все точно так бывает:*

*его – к виску, а он к виску приник,  
вся жизнь прошла за этот краткий миг,  
все вспомнилось, что не было и было...  
И темечко как бы к дождю заныло.*

*Затем обратно в стол его швырни:  
он пригодится на другие дни.  
Тебя холодный этот душ охватит –  
на день-другой, глядишь, его и хватит.*

*Купи пугач, купи! Тебе не в труд.  
Он безопасен. С ним не заберут.  
Побалагуришь – и пройдет тоска...  
...Все пугачи мы держим у виска!*

Лифт остановился на четвертом этаже.

Дверь в квартиру открыла бабушка.

Взгляд ее, как всегда, выражал разочарование и сожаление одновременно. Разочарование от того, что внук совсем отбилась от рук, а сожаление – о том, что бедный мальчик растет без отца, которого арестовали и, скорее всего, Шалико уже нет в живых (о том, что Шалва Степанович Окуджава был расстрелян в Свердловской городской тюрьме, стало известно лишь в 1954 году).

От этого взгляда Булату становилось невыносимо тоскливо. Ему еще острее начинало казаться, «что счастья никогда не было и было всегда это серое, тревожное, болезненное ожидание перемен».

Понурился, он проходил через заставленный шкафами, ящиками и ломаной мебелью коридор, садился к столу, начинал хлебать приготовленное варево, обжигался при этом, а потом шел к себе за шкаф делать уроки, но не делал их, конечно. Дождавшись, когда бабушка уснет или выйдет на кухню, он незаметно сбежал из дому.

Учился Булат плохо.

Нравилась ему только уроки литературы, потому что на этих уроках можно было вспоминать о том, как все было раньше, или мечтать о том, как все могло бы быть по-другому, что одно и то же по сути.

В марте 1939 года по обвинению в контрреволюционной деятельности арестовали мать, Ашхен Степановну Налбандян, и отправили в лагерь Батык Карагандинской системы ГУЛАГа НКВД.

Из книги Б.Ш. Окуджавы «Упраздненный театр»: «Он, сын врага народа, проводил школьные часы, как в тумане, испытывая чувство вины перед остальными счастливыми. Однако постепенно выяснилось, что судьбы многих схожи с его судьбой».

Сначала Булат был уверен в том, что столь печальная участь постигла и постигает лишь тех, кто, как говорили его родители, по приказу партии выполняли самую ответственную, самую важную работу, но со временем стало ясно, что это не так – репрессиям подвергались простые рабочие и рядовые РККА, почтальоны и учителя, машинисты паровозов и колхозники, студенты и водители грузовиков. Их судили по тем же статьям, что и наркомов, первых секретарей и легендарных комдивов, и расстреливали точно так же.

Осознание этого вызывало какую-то странную, необъяснимую тоску, смятение от общей бессмысленности, даже затаенную обиду, но пятнадцатилетний Булат не мог разобраться в этих своих чувствах, не мог понять, на кого и за что он обижен, почему тоскует и мечется его душа.

А спросить-то было и не у кого...

Спустя годы, курия ночью на крыльце учительского общежития в Шамордино, Окуджава будет вспоминать свое детство в Нижнем Тагиле и Москве, будет сопоставлять разрозненные, на первый взгляд, эпизоды в надежде сложить из них картину объемную и, как сказал бы Достоевский, выпуклую.

*Булат присутствует на траурном митинге по убитому Сергею Мироновичу Кирову. Запомнилось, что тогда из ртов у всех валил пар, было холодно, однако отец выступал на трибуне без шапки, он кричал, почти плакал, но никто не слушал его.*

*После уроков в подворотне между Калошиным и Кривоарбатским переулками Булат дерется со второгодником по прозвищу Штырь, который его в результате кладет на лопатки. Булат сопит, пытается вывернуться из железных объятий Штыря, но не может этого сделать и полностью ощущает свое бессилие.*

*Булат стреляет из отцовского браунинга, потом бросает его и, не разбирая дороги, бежит домой в слезах. Здесь он ложится на кровать и долго не может объяснить родителям, что произошло.*

*Вместе с теткой и двоюродной сестрой отдыхает в Евпатории. Булат стоит на берегу моря. Он не любит плавать, потому что, оказавшись в воде, чувствует себя беспомощным и уязвимым.*

*Смотрит, как Дергачев потрошит дохлого грача, убитого из поджигного, и ему становится дурно.*

*Булат показывает одноклассникам дом, в котором он живет вместе с родителями, – столовая, гостиная, кабинет отца, гардеробная, его комната с окнами в сад. Гордость за свою семью и самоуверенность смешались в ту минуту в какое-то одно, трудно определяемое чувство, которое потом еще долго будет преследовать Булата.*

*Отец рассказывает о том, что завод перевыполняет план по производству вагонов, а рабочие активно включаются в стахановское движение. Аишен Степановна внимательно слушает мужа, но потом неожиданно говорит, что эти успехи ни в коей мере не отменяют усиления борьбы за дисциплину на производстве, потому что без дисциплины начнутся разброд и шатание, безобразия и воровство. Шалико соглашается. Со словом «дисциплина»*

у Булата, впрочем, связаны лишь строгий пронизательный взгляд отца и короткая, как выстрел, фраза матери – «Ты наказан».

*Бабушка кормит его горячим варевом. Булат хлебает разваренную картошку, обжигается, слышит плач брата, который болеет на своей раскладушке, у него высокая температура. Потом брат засыпает, а Булат пробирается за шкаф, где на козлах, поверх которых положен старый промятый блин тюфяка, устроена его лежанка.*

*Просыпается посреди ночи от стука в дверь, это пришли арестовывать мать. Они включают свет, гремят сапогами по полу, двигают стулья, смотрят на мальчиков и бабушку безо всякого сожаления. Не говоря ни единого слова, мать собирает вещи и уходит.*

*Из открытой двери дует.*

*Булат вместе с одноклассниками сидит на берегу реки Тагил и смотрит, как мимо проплывают льдины, на которых пылают снопы соломы, неизвестно откуда там взявшиеся. Сполохи отражаются в воде, и детям кажется, что горит вода.*

Да, это разрозненные эпизоды, из которых складывается причудливый орнамент, и при том, что в нем нет ни одного повторяющегося фрагмента, полностью нарушена хронология и совершенно не сохранена сюжетная линия, возникает дыхание медленно уходящего времени, вернуть которое невозможно.

Слом, произошедший в жизни юного Булата после ареста отца и выселения семьи из Нижнего Тагила, после возвращения в Москву на Арбат, где он родился в 1924 году у Грауэрамана, после болезненного перехода из одного социального эшелона в другой в том возрасте, когда ничего не забывается, не прощается и хранится в памяти вечно, вне всякого сомнения, не только стал определяющим при складывании его характера, но и во многом сформировал Окуджаву – поэта и прозаика.

Эмоциональность, чувствительность были навсегда придавлены детским подсознательным страхом того, что, оказавшись в центре внимания (как отец или мать), впереди ли колонны, на трибуне ли, всегда рискуешь получить удар в спину (может быть, отсюда идет любовь Булата Шалвовича к благородному и куртуазному XIX веку, где, вероятно, все было совсем по-другому). Отсюда же происходит и затаенность в ощущении собственного превосходства если не над окружающими тебя людьми, то над обстоятельствами – точно. Детские воспоминания как бы вступают в противоречие с повседневным течением жизни, с Большим террором, с войной, и выход из этого противоречия видится очень замысловатым, путаным, порой не имеющим к объективной реальности никакого отношения.

Уже в 1980 году Булат Шалвович напишет такие строки:

*Что мне сказать? Еще люблю свой двор,  
его убогость и его простор,  
и аромат грошового обеда.  
И лгну душой к заветному Кремлю,  
и усача кремлевского люблю  
и самого себя люблю за это...*

На тот момент с описываемых нами событий прошло более сорока лет. Достаточно времени, чтобы окончательно сложить своеобразный пазл даже не собственного портрета, а психотипа ровесников, тех, кто родился в двадцатых, кто прошел войну, тех, чьи родители были репрессированы в тридцатых-пятидесятых годах.

Любовь к «заветному Кремлю» и к самому себе – это два разных, абсолютно противоположных чувства, которым никогда не сойтись, но с этой пропастью внутри самого себя надо как-то жить. Задача не из простых, и далеко не всем с ней удалось справиться.

## Глава 3

В 1953 году умер Сталин.

Слухи о страшной давке на похоронах вождя докатились до Калуги.

В 1954 году родился сын – Игорь Булатович Окуджава.

Почти сразу Галина увезла новорожденного в Тбилиси, где жила ее сестра Ирина.

В этом же году освободилась из заключения и вернулась в Москву Ашхен Степановна Налбандян.

Сын стал бывать у матери в ее квартире на Краснопресненской набережной дом ½ ежемесячно.

В 1955 году Окуджава подал заявление о вступлении в ряды КПСС и в начале 1956 года был принят в коммунистическую партию.

Тогда же он написал очень искреннее стихотворение «Ленин»:

*Всё, что создано нами прекрасного,  
создано с Лениным,  
всё, что пройдено было великого,  
пройдено с ним...*

*Он приходит, простой и любимый,  
сквозь все поколения,  
начиная свой путь  
из далекой симбирской весны.*

В 1956 году в Москве состоялся XX съезд партии, на котором с закрытым докладом «О культе личности и его последствиях» выступил первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев.

В этом же году у Булата в калужском издательстве газеты «Знамя» вышел первый сборник стихов «Лирика» тиражом 3 тысячи экземпляров.

Это произошло ровно через одиннадцать лет после его первой публикации в гарнизонной газете Закавказского фронта «Боец РККА» под псевдонимом А. Должанов.

И вот теперь сын ехал к маме в Москву, чтобы подарить ей свою книгу.

*Далекий путь. Вагоны за вагоном  
к моей Москве настойчиво бегут,  
их то обнимет лес огнем зеленым,  
то степи под колеса упадут.*

В Наро-Фоминске в вагон вошел старик и сел на скамейку напротив.

Сначала он долго молчал, уставившись в окно, за которым мимо проносились полустанки, бесконечной длины заборы, перелески и снова полустанки, а затем неожиданно повернулся к Окуджаве и проговорил:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.